



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества

I

Почему приблизился к нам Лермонтов? Почему вдруг захотелось о нем говорить?

Рассказывают, будто бы у Лермонтова был такой «тяжелый взгляд», что на кого он смотрел пристально, тот невольно оборачивался¹. Не так ли мы сейчас к нему обернулись невольно?

Стихи его для нас, как заученные с детства молитвы. Мы до того привыкли к ним, что уже почти не понимаем. Слова действуют помимо смысла.

Помню, когда мне было лет 7—8, я учил наизусть «Ангела» из старенькой хрестоматии с истрепанным зеленым корешком. Я твердил: «По небу полуночи», не понимая, что «полуночи» родительный падеж от «полночь»; мне казалось, что это два слова: «по» и «луночь». Я видел картинку, изображавшую ангела, который летит по темно-синему, лунному небу: это и была для меня «луночь». Потом узнал, в чем дело; но до сих пор читаю: «по небу, по луночи», бессмысленно, как детскую молитву.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них².

Я также узнал, что нельзя сказать: «Из пламя и света»³, а надо: из пламени. Но мне нравилась эта грамматическая ошибка: она приближала ко мне Лермонтова.

Потом, в 12—13 лет, я уже для собственного удовольствия учил его наизусть. Переписывал «Мцыри» тщательно, в золо-

тообрезную тетрадку, и мне казалось, что эти стихи я сам сочинил.

Пушкина я тогда не любил: он был для меня взрослый; Лермонтов такой же ребенок, как я.

В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог⁴.

Вот чего Пушкин не сказал бы ни за что. Взор его был слишком трезв, точен и верен действительности. Он говорит просто:

Последняя туча рассеянной бури,
Одна ты несешься по ясной лазури⁵.

Но эта пушкинская «ясная лазурь» по сравнению с бездонно-глубоким лермонтовским небом казалась мне плоской, как голубая эмаль.

С годами я полюбил Пушкина, понял, что он велик, больше, чем Лермонтов. Пушкин оттеснил, умалил и как-то обидел во мне Лермонтова: так иногда взрослые нечаянно обижают детей. Но где-то в самой глубине души остался уголок, не утоленный Пушкиным.

Я буду любить Пушкина, пока я жив; но когда придет смерть, боюсь, что это примирение:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять⁶, —

покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим, — и я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова.

Не потому ли уже и теперь сквозь вечеряющий пушкинский день таинственно мерцает Лермонтов, как первая звезда.

Пушкин — дневное, Лермонтов — ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами — созерцанием и действием.

Голос Божий пророку:

Глаголом жги сердца людей⁷ —

услыхал Пушкин, но не последовал ему, не сделался пророком, идущим к людям, а предпочел остаться жрецом, от людей уходящим:

Подите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас?⁸

Поэт — жрец, а жертва Богу — жизнь людей. Толпа не зажигается огнем пророка, а «плюет на алтарь», где горит огонь жреца.

В жизни Пушкин весь на людях, но в творчестве один.

Ты — царь; живи один⁹.

Лермонтов обратно: в жизни один, в творчестве идет к людям; пусть не доходит, но идет; пусть ненавидит, но не бесстрастен.

...не для битв
Мы рождены...¹⁰ —

говорит Пушкин.

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца *для битвы*, —

говорит Лермонтов. Поэт — кинжал, «спутник героя».

Не по одной груди провел он страшный след
И не одну порвал кольчугу.

Созерцание, отречение от действия для Пушкина — спасение, для Лермонтова — гибель поэта, ржавчина клинка.

Игрушкой золотой он блещет на стене,
Увы, бесславный и безвредный...
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк,
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?¹¹

У Пушкина жизнь стремится к поэзии, действие — к созерцанию; у Лермонтова поэзия стремится к жизни, созерцание — к действию.

На первый взгляд может казаться, что русская литература пошла не за Пушкиным, а за Лермонтовым, захотела быть не только эстетическим созерцанием, но и пророческим действием — «глаголом жечь сердца людей».

Стобит, однако, взглядеться пристальнее, чтобы увидеть, как пушкинская чара усыпляет буйную стихию Лермонтова.

И на бунтующие волны
Льет усмирительный елей¹².

В начале — буря, а в конце тишь да гладь. Тишь да гладь — в созерцательном аскетизме Гоголя, в созерцательном эстетизме Тургенева, в православной реакции Достоевского, в буддийском неделанье Л. Толстого. Лермонтовская действенность вечно борется с пушкинской созерцательностью, вечно ею побеждается и сейчас побеждена как будто окончательно, раздавлена.

Вот одна из причин того, что о Пушкине говорили много и кое-что сказали, о Лермонтове говорили мало и ничего не сказали; одна из причин того, что пушкинское влияние в русской литературе кажется почти всем, лермонтовское — почти ничем.

Другая причина того же указана в статье Вл. Соловьева о Лермонтове, недаром предсмертной — как бы духовном завещании учителя ученикам.

II

«Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того направления чувств и мыслей, а отчасти и *действий* (тут упоминание о действенности чрезвычайно важно), которое для краткости можно назвать “ницшеанством”. — Глубочайший смысл деятельности Лермонтова освещается писаниями его ближайшего преемника Ницше».

Сверхчеловечество, по мнению Вл. Соловьева, есть не что иное, как ложно понятое, превратное богочеловечество. Лермонтов не понял своего призвания «быть могучим вождем людей на пути к сверхчеловечеству» истинному, т. е. к богочеловечеству, к христианству, и потому погиб. Христианства же не понял, потому что не захотел смириться. А «кто не может подняться и не хочет смириться, то сам себя обрекает на неизбежную гибель».

В 1840 году в черновом отпуске полковой канцелярии при штабе генерал-адъютанта Граббе¹³, отправленном в Петербург, на запрос военного министра о поручике Лермонтове сказано: «Служит исправно, ведет жизнь трезвую и ни в каких злокачественных поступках не замечен»¹⁴.

Полковой писарь оказался милосерднее христианского философа. В посмертном отпуске Вл. Соловьева вся жизнь Лермонтова — непрерывная цепь «злокачественных поступков».

«С детства обнаружилились в нем черты злобы прямо демонической. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цве-

ты, осыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. Взрослый Лермонтов совершенно так же вел себя относительно человеческого существования, особенно женского. И это демоническое сладострастие не оставляло его до горького конца. Но с годами демон кровожадности слабеет, отдавая бо2льшую часть своей силы своему брату, демону нечистоты», — того, что Вл. Соловьев называет «свинством». Эротическую музу Пушкина сравнивает он с ласточкой, которая, пролетая над грязною лужей, не задевает ее крылом и «щебечет что-то невинное»; «порнографическую» музу Лермонтова — с «лягушкой, прочно засевшею в тине». — Здесь любопытно это общепринятое побивание Лермонтова Пушкиным: одному все прощается, другому каждое лыко в строку.

Наконец, к первым двум демонам присоединился главнейший и сильнейший демон гордости, так что в душе его «завелось целое демоническое хозяйство». Все доброе, но слишком слабое, что у него еще было — несколько «субъективных усилий» в борьбе с демонизмом, — заглохло окончательно, и он безвозвратно устремился к гибели.

Дуэль с Мартыновым — «этот безумный вызов высшим силам» — была последним и самым «злонакачественным поступком» Лермонтова. «Бравый майор Мартынов», как называет его Вл. Соловьев, или попросту «Мартышка»¹⁵, как называл его Лермонтов (это, в самом деле, «мартышка», обезьяна Лермонтова, то же для него, что Грушницкий для Печорина, Смердяков для Ив. Карамазова), оказался орудием небесной кары за бесовскую «кровожадность», бесовское «сладострастие» и бесовскую «гордыню» Лермонтова. И небесное знамение подтвердило праведную месть: «В страшную грозу, при блеске молнии и раскатах грома перешла эта бурная душа в иную область бытия».

Конец Лермонтова у Вл. Соловьева напоминает конец Фауста. Потомок шотландского чернокнижника Фомы Лермонта и предок немецкого антихриста Ницше не мог иметь иного конца.

«Конец Лермонтова и им самим и нами называется *гибелью*, — заключает Вл. Соловьев. — Выражаясь так, мы не представляем себе, конечно, театрального провала в какую-то преисподнюю, где пляшут красные черти». Оговорка дела не меняет: какого бы цвета ни были черти, нет сомнения, что Вл. Соловьев Лермонтова отправил к чертям. Он дает понять, что конец его не только временная, но и *вечная гибель*.

Над поэтом произносится такой же беспощадный приговор, как над человеком.

«Осталось от Лермонтова несколько истинных жемчужин поэзии», затерянных в навозной куче «свинства», в «обуявшей соли демонизма, данной на поправление людям, по слову Евангелия; могут и должны люди попить эту обуявшую соль с презрением и враждою, конечно, не к погибшему гению, а к погубившему его началу человекоубийственной лжи».

Спасти Лермонтова от вечной гибели нельзя; но, чтобы хоть сколько-нибудь уменьшить ужас, на который он обречен и который неизмеримо ужаснее «пляшущих красных чертей», мы должны «обличать ложь воспетого им демонизма», т. е. ложь всей лермонтовской поэзии, чья сущность, по мнению Вл. Соловьева, и есть не что иное, как демонизм, превратное сверхчеловечество.

О. Матвей советовал Гоголю сжечь свои писания¹⁶; Вл. Соловьев почти то же советует нам сделать с писаниями Лермонтова.

В этом приговоре нашла себе последнее выражение та глухая ненависть, которая преследовала его всю жизнь.

Добрейший старичок Плетнев, друг Пушкина, называл Лермонтова «фокусником, который своими гримасами напоминал толпе Пушкина и Байрона»¹⁷. Современный присяжный поверенный Спасович утверждает, что Лермонтову «можно удивляться, но *любить* его нельзя»¹⁸. Достоевский, так много сказавший о Пушкине, ни слова не говорит о Лермонтове, которому в мистике своей обязан едва ли не более, чем Пушкину, а единственный раз, когда вспомнил о Лермонтове, сравнил его с «бесноватым» Ставрогиным, по силе «демонической злобы»: «В злобе выходил прогресс *даже* против Лермонтова»¹⁹. Пятигорские враги поэта, натравливая на него Мартынова, говорили, что пора «проучить ядовитую гадину»²⁰. Одна «высокопоставленная особа», едва ли не император Николай I, узнав о смерти Лермонтова, вздохнула будто бы с облегчением и заметила: «Туда ему и дорога!»²¹ — а по другому, не психологически, а лишь исторически недостоверному преданию, воскликнула: «Собаке собачья смерть!»²².

Таким образом, Вл. Соловьев нанес Лермонтову только последний, так называемый «милосердный удар», coup de grève. Мартынов начал, Вл. Соловьев кончил; один казнил временной, другой — вечною казнью, которую предчувствовал Лермонтов:

И как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной²³.

Казнь совершилась, раздавлена «ядовитая гадина» — лучезарному Аполлону-Пушкину принесен в жертву дионисовский черный козел²⁴ — козел отпущения всей русской литературы — Лермонтов.

Откуда же такая ненависть?

III

«Смирись, гордый человек!» — воскликнул Достоевский в своей пушкинской речи. Но с полной ясностью не сумел определить, чем истинное Христово смирение сынов Божьих отличается от мнимохристианского рабьего смирения. Кажется, чего другого, а смирения, всяческого — и доброго и злого, — в России довольно.

Смирению учила нас русская природа — холод и голод, — русская история: византийские монахи и татарские ханы, московские цари и петербургские императоры. Смирял нас Петр, смирял Бирон²⁵, смирял Аракчеев²⁶, смирял Николай I; ныне смиряют карательные экспедиции и ежедневные смертные казни. Смиряет вся русская литература.

Если кто-нибудь из русских писателей начинал бунтовать, то разве только для того, чтобы тотчас же покаяться и еще глубже смириться. Забунтовал Пушкин, написал оду Вольности²⁷ и смирился — написал оду Николаю I, благословил казнь своих друзей, декабристов:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни²⁸.

Забунтовал Гоголь — написал первую часть «Мертвых душ» и смирился — сжег вторую, благословил крепостное право²⁹. Забунтовал Достоевский, пошел на каторгу — и вернулся проповедником смирения. Забунтовал Л. Толстой, начал с анархической синицы, собиравшейся море зажечь, и смирился — кончил непротивлением злу, проклятьем русской революции.

Где же, где, наконец, в России тот «гордый человек», которому надо смириться? Хочется иногда ответить на этот вечный призыв к смирению: докуда же еще смиряться?

И вот один-единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся, — Лермонтов.

Потому ли, что не успел смириться? — Едва ли.

Источник лермонтовского бунта — не эмпирический, а метафизический. Если бы продолжить этот бунт в бесконечность, он, может быть, привел бы к иному, более глубокому, истинному смирению, но, во всяком случае, не к тому, которого требовал Достоевский и которое смешивает свободу сынов Божьих с человеческим рабством. Ведь уже из того, как Лермонтов начал свой бунт, видно, что есть в нем какая-то религиозная святость, от которой не отречется бунтующий, даже под угрозой вечной гибели, той «преисподней, где пляшут красные черти».

Этой-то метафизически и религиозно утверждающей себя несмирности, несмиримости и не могла простить Лермонтову русская литература. Все простила бы, только не это — не «хулу на Духа», на своего смиренного духа.

Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец! хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами.

Смотрите ж, дети, на него,
Как он угрюм, и худ, и бледен,
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!³⁰

Вот за что обречен был Лермонтов на страшную казнь в сем веке и будущем.

Вл. Соловьев уверяет, будто бы любит Лермонтова. — «Вы мне поверите, что, прежде чем говорить о Лермонтове, я подумал, чего требует от меня *любовь к умершему*». — Но уж если любовь такова, что вбивает, так сказать, осиновый кол в горло покойнику, то какова же ненависть?

Любовь или ненависть, во всяком случае такая страсть в этой борьбе, которая возможна только тогда, когда враг врагу чересчур близок. Вл. Соловьев и Лермонтов — родные братья, Авель и Каин русской литературы; но здесь совершается обратное убийство: Авель убивает Каина.

Борьба многих смиренных с одним «гордым человеком» происходила до сих пор в темноте, как бы ощупью: слышно было только, что кого-то ловили, давили, душили и никак не могли задушить окончательно. Но кого именно, не было видно. Никто не смел заглянуть в лицо избиваемой нечисти, словно упырю или оборотню. Вл. Соловьев первый осмелился, не опустил глаз перед невыносимо тяжелым взглядом Лермонтова и, глядя ему прямо в глаза, произнес: «сверхчеловек». И слово это, как свеча, вдруг поднесенная к лицу оборотня, осветило

его. Верно это или неверно, во всяком случае, дело тут идет именно *об этом*.

Борьба сверхчеловечества с богочеловечеством для нас не только настоящее, но будущее, наша вечная злоба дня. Вот почему мы должны были обернуться в ту сторону, откуда устали на нас эти тяжелые глаза; вот почему незапамятно-давний, почти забытый, детский Лермонтов так внезапно вырос и так неотступно приблизился к нам.

IV

«Подходя к дверям поручика Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и гремевшим шпорами молоденьким гусарским офицером. Он имел очень веселый вид человека, который сию минуту слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня капюшоном своей распахнувшейся шинели и, засмеявшись звонко на всю лестницу, сказал:

— Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном.

Лицо у него было бледное, несколько скуластое, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким, чуть-чуть приподнятым носом, именно таким, какой французы называют *nez à la cousine* *. — Развеселый этот офицерик не произвел на меня никакого особенного впечатления, кроме только того, что взгляд его мне показался каким-то тяжелым, сосредоточенным»...³¹

А вот отзыв самого благонаправленного поручика Синицына:

«Я, вы знаете, люблю, чтобы у меня все было в порядке... А тут вдруг, откуда ни возьмись, влетает к вам товарищ по школе, курит, сыпет пепел везде, где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и вдобавок швыряет окурки своих проклятых пахитос в мои цветочные горшки и, при всем этом, без милосердия болтает, лепечет, рассказывает всякие грязные истории о петербургских продажных красавицах, декламирует самые скверные французские стишонки... Небось, не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел! Ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то, или жжет на раскурку трубок своих же сорви-голов-гусаров»...³²

Таково первое впечатление от Лермонтова: самый обыкновенный гусарский офицерик.

* вздернутым носом (фр.). — *Сост.*

Однажды с пьяной компанией на тройках, в два часа ночи, въезжая в Петербург, на заставе у шлагбаума, где требовали расписки от въезжающих, Лермонтов расписался: «российский дворянин Скот Чурбанов»³³.

Я никогда не забуду, как в 80-х годах, во время моего собственного юношеского увлечения Лермонтовым, отец мой передал мне отзыв о нем гр. Адлерберга, министра двора при Александре II³⁴, старика, который лично был знаком с Лермонтовым: «Вы представить себе не можете, какой это был грязный человек!» — Для гр. Адлерберга Лермонтов был именно «Скот Чурбанов».

Вл. Соловьев не преувеличил, а скорее преуменьшил пошлость, «свинство» Лермонтова.

Чтобы в этом убедиться, стоит прочесть «Записки» Екатерины Александровны Хвостовой³⁵.

Лермонтов ухаживал за ней долго и упорно, довел ее до признания в любви, произнося кощунственно такие слова:

— Полюби меня, и я буду верить в Бога... Ты одна можешь спасти мою душу...

«Он поработил меня совершенно, — признается Катенька. — Мне стало страшно за себя. Я как будто чувствовала бездну под своими ногами.

Он уговаривал меня на побег и тайный брак». Когда же убедился, что она готова на все, написал ей анонимное письмо, в котором говорил о себе самом: «Поверьте, он недостойн вас. Для него нет ничего святого, он никого не любит. — Я ничего не имею против него, кроме презрения, которое он вполне заслуживает».

Письмо перехватили родственники. В доме наступил ад. — «Удивительно, как в ту ночь я не выплакала все сердце и осталась в своем уме, — пишет Хвостова. — Он убил во мне душу». — Но разлюбить его она не могла. — «Куда девалась моя гордость!.. Я готова была стать перед ним на колени, лишь бы он ласково взглянул на меня».

Они встречались на балах. — «Он все не смотрел на меня; не было возможности заговорить с ним. Наконец я спросила его:

— Ради Бога, скажите, за что вы сердитесь?

— Я вас больше не люблю, *да кажется, и никогда не любил*», — ответил Лермонтов.

«Теперь я не пишу романов — я их переживаю»³⁶, — записал он в дневнике. — «Я на деле заготавливаю материалы для моих сочинений», — сказал он однажды самой жертве.

Есть человеческие мерзости, которых нельзя простить ни за какое величие. Читая признания бедной Катеньки, хочется иногда воскликнуть: подлец, вовсе не какой-нибудь великий злодей, а средней руки подлец, настоящий хулиган!

«Какой великий и могучий дух!» — воскликнул Белинский после долгой беседы наедине с Лермонтовым. Белинский³⁷ редко ошибался в людях. Да и было же что-то в Лермонтове, из чего родилась его поэзия — эти единственные на земле «звуки небес», что и Вл. Соловьева заставило увидеть в нем призвание «быть могучим вождем людей на пути <к> сверхчеловечеству».

Как же это соединялось с пошлостью? Скот Чурбанов с «великим и могучим духом»? Хулиган с ангелом?

«В Лермонтове было два человека», — говорит близко знавшее его лицо³⁸. — «Во мне два человека, — говорит Печорин. — Я сделался нравственным калекою: одна половина души моей высохла, умерла, я ее отрезал и бросил; тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины».

Главная ошибка, кажется, впрочем, не самого Лермонтова, а Печорина, заключается в том, что он считает отрезанную половину окончательно погибшею, тогда как обе половины одинаково живы метафизически, и лишь эмпирически одна половина подавила другую.

Откуда же это раздвоение?

V

«Произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против Дракона; и Дракон и ангелы его воевали против них; но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон»³⁹.

Существует древняя, вероятно гностического происхождения, легенда, упоминаемая Данте в «Божественной комедии»⁴⁰, об отношении земного мира к этой небесной войне. Ангелам, сделавшим окончательный выбор между двумя станами, не надо рождаться, потому что время не может изменить их вечного решения; но колеблющихся, нерешительных между светом и тьмою, благость Божья посылает в мир, чтобы могли они сделать во времени выбор, не сделанный в вечности. Эти ангелы — души людей рождающихся⁴¹. Та же благость скрывает от них прошлую вечность, для того чтобы раздвоение, колебание

воли в вечности прошлой не предreshало того уклона воли во времени, от которого зависит спасенье или погибель их в вечности будущей. Вот почему так естественно мы думаем о том, что будет с нами после смерти, и не умеем, не можем, не хотим думать о том, что было до рождения. Нам дано забыть, *откуда* — для того, чтобы яснее помнить, *куда*.

Таков общий закон мистического опыта. Исключения из него редки, редки те души, для которых поднялся угол страшной завесы, скрывающей тайну премирную. Одна из таких душ — Лермонтов.

«*Я счет своих лет потерял*»⁴², — говорит пятнадцатилетний мальчик. Это можно бы принять за шутку, если бы это сказал кто-нибудь другой. Но Лермонтов никогда не шутит в признаниях о себе самом.

Чувство незапамятной давности, древности — «веков бесплодных ряд унылый»⁴³ — воспоминание земного прошлого сливается у него с воспоминанием прошлой вечности, таинственные сумерки детства с еще более таинственным всполохом иного бытия, того, что было до рождения.

И я счет своих лет потерял
И крылья забвенья ловлю.
Как я сердце унести бы им дал,
Как бы *вечность* им бросил мою!

Так же просто, как другие люди говорят: моя жизнь, — Лермонтов говорит: моя вечность.

Воспоминание, забвение — таковы две главные стихии в творчестве Лермонтова.

О, когда б я мог
Забыть, что незабвенно!..⁴⁴ —

говорит пятнадцатилетний мальчик и впоследствии повторяет почти теми же словами от лица Демона:

Забыть? Забвенья не дал Бог,
Да он и не взял бы забвенья⁴⁵.

На дне всех эмпирических мук его — эта метафизическая мука — неутолимая жажда забвенья:

Спасть от думы неизбежной
И незабвенное забыть!..⁴⁶

«Незабвенное» — прошлое — вечное.

Печорин признается: «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание — болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... *Я ничего не забываю, ничего*».

К тому, что было до рождения, дети ближе, чем взрослые. Вот почему обладает Лермонтов никогда не изменяющей ему способностью возвращаться в детство, т. е. в какую-то прошлую вечную правду.

Накануне смерти, со смертью в душе, он «предается таким шалостям, которые могут прийти в голову разве только пятнадцатилетнему мальчику»⁴⁷. — «Бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо», — рассказывает Эмилия Александровна, та самая барышня, из-за которой Лермонтов был убит Мартыновым⁴⁸.

«Тяжелый взор странно не согласовался с выражением *детски нежных* и выдававшихся губ», — вспоминает о нем И. С. Тургенев⁴⁹. — «В его улыбке было что-то *детское*», — говорит Лермонтов о Печорине. — Детское и женское. — «Он очень походил на мать свою, — сказал однажды Краевский, указывая на ее портрет, — если вы к этому лицу приделаете усы, измените прическу да накинете гусарский ментик — так вот вам Лермонтов»⁵⁰.

«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал; ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать»⁵¹. — Песня матери — песня ангела:

И голос той песни в душе молодой
Остался без слов, но живой...

Вся поэзия Лермонтова — воспоминание об этой песне, услышанной в прошлой вечности.

Постоянно и упорно, безотвязно, почти до скуки, повторяются одни и те же образы в одних и тех же сочетаниях слов, как будто хочет он припомнить что-то и не может, и опять припоминает все яснее, яснее, пока не вспомнит окончательно, неотразимо, «незабвенно». Ничего не творит, не сочиняет нового, будущего, а только повторяет, *вспоминает* прошлое, вечное. Другие художники, глядя на свое создание, чувствуют: это прекрасно, потому что этого еще никогда не было. — Лермонтов чувствует: это прекрасно, потому что это всегда было.

Весь жизненный опыт ничтожен перед опытом вечности. По сравнению с блаженством —

Тех дней, когда в жилищах света
Блистал он, чистый херувим, —

все земные радости — «скучные песни»:

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Маленький мальчик, который вчера играл в лошадки или солдатики, сегодня решает:

Пора уснуть последним сном:
Довольно в мире пожил я,
Обманут в жизни был во всем
И ненавидя, и любя⁵².

Едва взглянув на мир, произносит свой безгневный и беспощадный приговор: «*жалок мир*».

Тут, конечно, и отзвук Байрона; но Байрон только вскрывает в нем то, что всегда было как данное, вечное.

Что говорит ребенок, — повторяет взрослый:

...жизнь, как помотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка.

Никаких особенных разочарований или утрат не произошло в жизни его между тем первым ребяческим лепетом и этим последним воплем отчаяния, в котором как бы зияет уже «тьма кромешная»; ничего нового не узнал, только *вспомнил* старое.

...Им в жизни нет уроков,
Их чувствам повторяться не дано⁵³, —

говорит он о себе подобных.

Знает все, что будет во времени, потому что знает все, что было в вечности.

...Много было взору моему
Доступно и понятно потому,
Что узами земными я не связан
И вечностью и знанием *наказан*⁵⁴.

«Наказан» в жизни за преступление до жизни.

Как другие вспоминают прошлое, так он предчувствует или, вернее, тоже *вспоминает будущее* — словно снимает с него покровы, один за другим, — и оно просвечивает сквозь них, как пламя сквозь ткань. Кажется, во всемирной поэзии нечто единственное — это воспоминание будущего.

На шестнадцатом году жизни — первое видение смерти:

На месте казни, гордый, хоть презренный,
Я кончу жизнь мою⁵⁵.

Через год:

Я предузнал мой жребий, мой конец:
Кровавая меня могила ждет⁵⁶.

Через шесть лет:

Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет⁵⁷.

И наконец, в 1841 году, в самый год смерти — «Сон» — видение такой ужасающей ясности, что секундانت Лермонтова, кн. Васильчиков, описывая дуэль через 30 лет, употребляет те же слова, как Лермонтов. — «В правом боку дымилась рана, а в левом сочилась кровь», — говорит кн. Васильчиков⁵⁸.

Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь сочилась моя, —

говорит Лермонтов.

Это «воспоминание будущего», воспоминание прошлой вечности кидает на всю его жизнь чудесный и страшный отблеск: так иногда последний луч заката из-под нависших туч освещает вдруг небо и землю неестественным заревом.

VI

Христианское «не от мира сего» хотя и подобно, но лишь в противоположности своей подобно лермонтовскому —

Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них⁵⁹.

В христианстве — движение от «сего мира» к тому, *отсюда туда*; у Лермонтова обратное движение — *оттуда сюда*.

Это сказывается не только во внутреннем духовном существе, но и во внешнем телесном облике.

«В наружности Лермонтова, — вспоминает И. С. Тургенев, — было что-то злое и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Вся его фигура, приземистая, кривоно-

гая, с большой головой на сутулых плечах, возбуждала ощущение неприятное»⁶⁰. — «Почему-то внимание каждого и не знавшего его невольно на нем останавливалось»⁶¹. — «Все от него отшатнулись, — рассказывает университетский товарищ Лермонтова, — а между тем что-то непонятное, таинственное влекло к нему»⁶². — «Разговор его похож на то, как будто кто-нибудь скребет по стеклу»⁶³.

«— Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете?

Он оторвался от чтения; как удар молнии, сверкнули его глаза — трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий взгляд.

— Для чего вам знать?.. Содержание книги вас не может интересовать.

Как бы ужаленный, я бросился от него»⁶⁴.

Одна светская женщина уверяет, что глаза Лермонтова «имели магнетическое влияние»⁶⁵. Иногда те, на кого он смотрел пристально, должны были выходить в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этот взгляд.

Если бы довести до конца это первое бессознательное впечатление, то пришлось бы его выразить так: в человеческом облике *не совсем человек*; существо иного порядка, иного измерения; точно метеор, заброшен к нам из каких-то неведомых пространств.

Как метеор, игрой судьбы случайной,
Он пролетел грозою между нас⁶⁶.

Кажется, он сам если не сознавал ясно, то более или менее смутно чувствовал в себе это «не совсем человеческое», чудесное или чудовищное, что надо скрывать от людей, потому что *этого* люди никогда не прощают.

Отсюда — бесконечная замкнутость, отчужденность от людей, то, что кажется «гордыней» и «злобою». Он мстит миру за то, что сам не от мира сего; мстит людям за то, что сам «не совсем человек». — «И никого-то он не любит», — жаловались на него бабушке⁶⁷. — Бесконечная сила отталкивания: «как бы ужаленный, я бросился от него». Точно заряженная лейденская банка: кто ни прикоснется, отскакивает.

Отсюда и то, что кажется «лживостью». — «Лермонтов всегда и со всеми лжет»⁶⁸. — Лжет, чтобы не узнали о нем страшную истину.

Звери слышат человеческий запах. Так люди слышат в Лермонтове запах *иной породы*. Одни, особенно женщины, по перво-

бытному греху любопытства, влекутся к нему, видят в нем «демона», как тогда говорили или, как теперь говорят, «сверхчеловека»; другие отходят от него с отвращением и ужасом: «ядовитая гадина», «антихрист»; или накидываются с яростью, чтобы загрызть, как собаки загрызают волка за то, что от него несобачий запах.

Отсюда наконец и то, что кажется в нем «пошлостью». Обыкновенного тщеславия, желания быть не как все у Лермонтова не было, потому что в этом смысле ему и желать было нечего; скорее могло у него быть обратное тщеславие — желание *быть как все*.

«Ведь я страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм, — говорит черт Ивану Карамазову. — Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения... Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить... люблю с попами и купцами париться... Моя мечта — это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху».

Все пошлости Лермонтова — разврат «Маёшки»⁶⁹ в школе гвардейских подпрапорщиков, «свинство», хулиганство с женщинами — не что иное, как безумное бегство от «фантастического», от «неопределенных уравнений», безумное желание «воплотиться окончательно в семипудовую купчиху».

И когда люди наконец решают: «Да это вовсе не великий, а самый обыкновенный человек», — он рад, этого-то ему и нужно: слава Богу, поверили, что как все, точь-в-точь как все! Удалось-таки втиснуть четвертое измерение в третье, «забыть незабвенное», «попариться» и согреться хоть чуточку в «торговой бане» от ледящего холода междупланетных пространств!

Это извращение, может быть, гораздо худшее зло, чем обыкновенная человеческая пошлость; но не надо забывать, что зло это иного порядка, — не следует смешивать эти два порядка, как делает Вл. Соловьев в своем суде над Лермонтовым.

До какой степени «пошлость» его — только болезненный выверт, безумный надрыв, видно из того, с какою легкостью он сбрасывает ее, когда хочет.

Кажется, пропал человек, залез по уши в грязь, засел в ней «прочно, как лягушка в тине», так что и не выбраться. Но вот, после двух лет разврата и пошлости, стоило только приехать близкому человеку, другу любимой женщины, — и «двух страшных лет как не бывало»⁷⁰.

С души как бремя скатится,
Сомненья далеко,
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Такое же мгновенное освобождение от пошлости происходит с ним после дуэли Пушкина. У Лермонтова явилась мысль вызвать убийцу. Когда лучший друг Лермонтова, Столыпин, заметил, шутя, что у него «слишком раздражены нервы», Лермонтов набросился на Столыпина чуть не с кулаками и закричал, чтоб он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. — «Mais il est fou à lier!» * — воскликнул, уходя, Столыпин ⁷¹.

Стихотворение «На смерть Пушкина» признано было в придворных кругах за «воззвание к революции» ⁷². Это, конечно, вздор: далеко было Лермонтову до революции. Но недаром сравнивает его Достоевский с декабристом Мих. Луниным ⁷³: при других обстоятельствах и Лермонтов мог бы кончить так же, как Лунин.

В детстве он напускался на бабушку, когда она брала крепостных, выходил из себя, когда вели кого-нибудь наказывать, и бросался на отдавших приказание с палкою, с ножом, — что под руку попало ⁷⁴.

Однажды в Пятигорске, незадолго до смерти, обидел неосторожным словом жену какого-то маленького чиновника и потом бегал к ней, извинялся перед мужем, так что эти люди не только простили его, но и полюбили, как родного ⁷⁵.

Бабушка Лермонтова, после смерти внука, оплакивала его так, что веки на глазах ослабели, и она не могла их поднять ⁷⁶. Кое-что знала она о «ядовитой гадине», чего не знали Вл. Соловьев и Достоевский.

Однажды, после долгих лет разлуки с любимой женщиной, которая вышла замуж за другого, увидел он дочь ее, маленькую девочку. Долго ласкал ребенка, наконец горько заплакал и вышел в другую комнату. Тогда же написал стихотворение «Ребенку» ⁷⁷:

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.
О, если б знало ты, как я тебя люблю!..

Должно быть, в эту минуту лицо его было особенно похоже на лицо его матери: исчез разлад между слишком умным, тя-

* Но ведь он просто бешеный! (фр.). — *Сост.*

желым взором и «детски нежным выражением губ»; в глазах была небесная мудрость, а в губах земная скорбь любви. И если бы тогда увидели его Вл. Соловьев и Достоевский, то, может быть, поняли бы, что не разгадали чего-то самого главного в этой «душе печальной, незнакомой счастьем, но нежной, как любовь»⁷⁸.

«Какая нежная душа в нем!» — воскликнул Белинский⁷⁹. И тот же университетский товарищ, который, заговорив с Лермонтовым, отскочил, «как ужаленный», заключает свой рассказ: «Он имел душу добрую, я в этом убежден». — «Недоброю силою веяло от него», — говорит Тургенев.

Что же, наконец, добрый или недобрый?

И то, и другое. Ни то, ни другое.

Самое тяжелое, «роковое» в судьбе Лермонтова — не окончательное торжество зла над добром, как думает Вл. Соловьев, а бесконечное раздвоение, колебание воли, *смещение* добра и зла, света и тьмы.

Он был похож на вечер ясный,
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет⁸⁰.

Это и есть премирное состояние человеческих душ, тех нерешительных ангелов, которые в борьбе Бога с дьяволом не примкнули ни к той, ни к другой стороне. Для того чтобы преодолеть ложь раздвоения, надо смотреть не назад, в прошлую вечность, где борьба эта началась, а вперед, в будущую, где она окончится с участием нашей собственной воли. Лермонтов слишком ясно видел прошлую и недостаточно ясно будущую вечность: вот почему так трудно, почти невозможно ему было преодолеть ложь раздвоения.

«Верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные», — говорит Печорин. Но это — «необъятная сила» в пустоте, сила метеора, неудержимо летящего, чтобы разбиться о землю. Воля без действия, потому что без точки опоры. Все может и ничего не хочет. Помнит, *откуда*, но забыл, *куда*.

«Зачем я жил? — спрашивает себя Печорин, — для какой цели я родился?». — Категория цели, свободы открывается в будущей вечности; категория причины, необходимости — в прошлой.

Вот почему у Лермонтова так поразительно сильно чувство вечной необходимости, чувство рока — «фатализм». Все, что будет во времени, было в вечности; нет опасного, потому что нет случайного.

Кто близ небес, тот не сражен земным⁸¹.

Отсюда — бесстрашие Лермонтова, игра его со смертью.

«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, — сказано в донесении одного кавказского генерала, — во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действием передовой штурмовой колонны, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы»⁸².

За экспедицию в Большую Чечню представили его к золотой сабле⁸³.

Игра со смертью для него почти то же, что в юнкерской школе игра с железными шомполами, которые он гнул в руках и вязал в узлы, как веревки.

«Никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице его перед дулом пистолета, уже направленного на него», — рассказывает кн. Васильчиков о последних минутах Лермонтова⁸⁴.

Не совсем человек — это сказывается и в его отношении к смерти. Положительного религиозного смысла, может быть, и не имеет его бесстрашие, но оно все-таки кладет на личность его неизгладимую печать подлинности: хорош или дурен, он, во всяком случае, не казался, а был тем, чем был. Никто не смотрел в глаза смерти так прямо, потому что никто не чувствовал так ясно, что смерти нет.

Кто близ небес, тот не сражен земным.

Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть. Иначе в жизни и в творчестве его все непонятно — почему, зачем, куда, откуда, — главное, куда?

VII

Лермонтов первый в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле.

Пушкин почти не касался этого вопроса. Трагедия разрешалась для него примирением эстетическим. Когда же случилось ему однажды откликнуться и на вопрос о зле, как на все откликнулся он, подобно «эхо» —

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты нам дана? ⁸⁵ —

то, вместо религиозного ответа, удовольствовался он плоскими стишками известного сочинителя православного катехизиса, митрополита Филарета ⁸⁶, которому написал свое знаменитое послание:

И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

А. И. Тургенев описывает, минута за минутой, предсмертные страдания Пушкина: «Ночью он кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания. — Теперь (в полдень) я опять входил к нему; он страдает, повторяя: “*Боже мой, Боже мой! что это?..*” И сжимает кулаки в конвульсии» ⁸⁷.

Вот в эти-то страшные минуты не утолило бы Пушкина примирение эстетическое; православная же казенщина митрополита Филарета показалась бы ему не «арфой серафима», а шарманкою, вдруг заигравшею под окном во время агонии.

«Боже мой, Боже мой! что это?» — с этим вопросом, который явился у Пушкина только в минуту смерти, Лермонтов прожил всю жизнь.

Почему, зачем, откуда зло? Если есть Бог, то как может быть зло? Если есть зло, то как может быть Бог?

Вопрос о зле связан с глубочайшим вопросом теодицеи, оправдания Бога человеком, состязания человека с Богом.

«О, если б человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься?» ⁸⁸

Богоборчество Иова повторяется в том, что Вл. Соловьев справедливо называет у Лермонтова «тяжбою с Богом»: «Лермонтов, — замечает Вл. Соловьев, — говорит о Высшей воле с какою-то *личною обидою*».

Эту человеческую обиженность, оскорбленность Богом выразил один из современных русских поэтов:

Я — это Ты, о Неведомый,
Ты, в моем сердце обиженный ⁸⁹.

Никто никогда не говорил о Боге с такою личною обидою, как Лермонтов:

Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей? ⁹⁰

Никто никогда не обращался к Богу с таким спокойным вызовом:

И пусть меня накажет Тот,
Кто избрал мои мученья⁹¹.

Никто никогда не благодарил Бога с такою горькою усмешкою:

Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил⁹².

Вл. Соловьев осудил Лермонтова за богоборчество. Но кто знает, не скажет ли Бог судьям Лермонтова, как друзьям Иова: «Горит гнев Мой за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов»⁹³ — раб Мой Лермонтов.

В книге Бытия говорится о борьбе Иакова с Богом:

«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. — И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. — Иаков сказал: не отпущу Тебя, доколе не благословишь меня»⁹⁴.

Вот что окончательно забыто в христианстве — святое богоборчество. Бог не говорит Иакову: «Смирись, гордый человек!» — а радуется буйной силе его, любит и благословляет за то, что не смирился он до конца, до того, что говорит Богу: «Не отпущу Тебя». — Нашему христианскому смирению это кажется пределом кощунства. Но это святое кощунство, святое богоборчество положено в основу Первого Завета, так же как борение Сына до кровавого пота — в основу Второго Завета: «Тосковал и был в борении до кровавого пота», — сказано о Сыне Человеческом⁹⁵.

Я — это Ты, о Неведомый,
Ты, в моем сердце обиженный.

Тут какая-то страшная тайна, какой-то «секрет», как выражается черт Ивана Карамазова, — секрет, который нам «не хотят открыть, потому что тогда исчезнет необходимый минус и наступит конец всему». Мы только знаем, что от богоборчества есть два пути одинаково возможные — *к богоотступничеству и к богосыновству*.

Нет никакого сомнения в том, что Лермонтов идет от богоборчества, но куда — к богоотступничеству или богосыновству — вот вопрос.

Вл. Соловьев не только не ответил, но и не понял, что тут вообще есть вопрос. А между тем ответом на него решается все в религиозных судьбах Лермонтова.

Как царь немой и гордый, он сиял
Такой волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно⁹⁶, —

говорит Лермонтов о своем Демоне.

«Он не сатана, он просто черт, — говорит Ив. Карамазов о своем черте, — раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки».

Вся русская литература есть, до некоторой степени, борьба с демоническим соблазном, попытка раздеть лермонтовского Демона и отыскать у него «длинный, гладкий хвост, как у датской собаки». Никто, однако, не полюбопытствовал, действительно ли Демон есть дьявол, непримиримый враг Божий.

Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.

Никто этому не поверил; но что это не ложь или, по крайней мере, не совсем ложь, видно из того, что Демон вообще лгать не умеет: он лишен этого главного свойства дьявола, «отца лжи», так же как и другого — смеха. Никогда не лжет, никогда не смеется. И в этой правдивой важности есть что-то детское, невинное. Кажется иногда, что у него, так же как у самого Лермонтова, «тяжелый взор странно <не> согласуется с выражением почти детски-нежных губ».

Сам поэт знает, что Демон его не дьявол или, по крайней мере, не только дьявол:

То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик, о нет!
Он был похож на вечер ясный,
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

Почти то же говорит Лермонтов о себе самом:

Я к состоянью этому привык:
Но ясно б выразить его не мог
Ни демонский, ни ангельский язык⁹⁷.

Но если Демон не демон и не ангел, то кто же?

Не одно ли из тех двойственных существ, которые в борьбе дьявола с Богом не примкнули ни к той, ни к другой сторо-

не? — не душа ли человеческая до рождения? — не душа ли самого Лермонтова в той прошлой вечности, которую он так ясно чувствовал?

Если так, то трагедия Демона есть исполинская проекция в вечность жизненной трагедии самого поэта, и признание Демона:

Хочу я с небом примириться, —

есть признание самого Лермонтова, первый намек на богосыновство в богоборчестве.

«В конце концов я помирюсь», — говорит черт Ивану Карамазову.

Ориген утверждал, что в конце концов дьявол примирится с Богом. Христианством отвергнуто Оригеново учение, действительно выходящее за пределы христианства. Тут какое-то новое, пока еще едва мерцающее откровение, которое соединяет прошлую вечность с будущей: в прошлой — завязалась, в будущей — разрешится трагедия зла.

Но кто же примирит Бога с дьяволом? На этот вопрос и отвечает лермонтовский демон: любовь как влюбленность, Вечная Женственность:

Меня добру и небесам
Ты возратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом.

И этот ответ — не отвлеченная метафизика, а реальное, личное переживание самого Лермонтова: он это не выдумал, а выстрадал.

VIII

«Кто мне поверит, что я знал любовь, имея 10 лет от роду? К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет... Один раз я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя и ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так... Надо мной смеялись и дразнили... Я плакал потихоньку, без причины; желал ее ви-

дети; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату; я не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. *Я не знаю, кто была она, откуда. И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или подумают, что брежу, не поверят в ее существование — это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза быстрые, непринужденность — нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз... И так рано, в 10 лет. О, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!..»*⁹⁸

Десятилетний мальчик Лермонтов мог бы сказать своей девятилетней возлюбленной, как Демон Тамаре:

В душе моей с начала мира
Твой образ был напечатлен.

Это — воспоминание о том, что было до рождения, видение прошлой вечности —

Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим...

Всю жизнь преследует его это видение —

С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

«1830. Мне 15 лет. — Я однажды, три года назад, украл у одной девушки, которой было 17 лет и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий шнурок. Он и теперь у меня хранится. — Как я был глуп!»⁹⁹

Наконец, в последний раз мечта воплотилась или только забрезжила сквозь плоть.

«Будучи студентом, — рассказывает очевидец, — Лермонтов был страстно влюблен в Варвару Александровну Лопухину. Как сейчас помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было 15—16 лет, мы же были дети и сильно дразнили ее; у нее на лбу над бровью чернелось маленькое родимое пятнышко; и мы всегда приставали к ней, повторяя: “У Вареньки родинка, Варенька уродинка!” Но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. — Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но

истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей»¹⁰⁰.

Родные выдали Вареньку за богатого и ничтожного человека, Бахметева¹⁰¹. Может быть, она любила мужа, была верною женою, доброю матерью, но никогда не могла забыть Лермонтова и втайне страдала, так же как он, хотя, по всей вероятности, не сознавала ясно, отчего страдает.

Они любили друг друга так долго и нежно...
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты иль хладны их краткие речи.

Он пишет ей через много лет разлуки:

Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души¹⁰².

И вот сквозь тысячи измен, сквозь невероятную пошлость, «свинство», хулиганство с женщинами — он верен ей одной, любит ее одну:

И я твержу один, один
Люблю, люблю одну...¹⁰³

Говорит ей просто:

...вас
Забыть мне было невозможно.
И к этой мысли я привык;
Мой *крест* несу я без роптанья¹⁰⁴.

Любовь — «крест», великий и смиренный подвиг. Тут конец бунта, начало смирения, хотя, может быть, и не того, которого требует Вл. Соловьев.

«От нее осталось мне только одно имя, которое в минуты тоски привык я произносить, как молитву»¹⁰⁵.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу;
И брошусь из битвы
Ему я навстречу¹⁰⁶.

Святая любовь, но святая не христианскою святостью; во всяком случае, не бесплотная и бескровная любовь «бедного рыцаря» к Прекрасной Даме¹⁰⁷ — *Lumen Coeli, Sancta Rosa* *.

* Свет Небес, Святая Роза (лат.). — Сост.

Там, в христианской святости — движение от земли к небу, отсюда туда; здесь, у Лермонтова, — от неба к земле, оттуда сюда.

...Небо не сравню
Я с этою землей, где жизнь влачу мою:
Пускай на ней блаженства я не знаю, —
По крайней мере, я люблю¹⁰⁸.

«Я страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм». — Видение бедного рыцаря — тоже «фантастическое», тоже «неопределенное уравнение». Но вот пляска Тамары — тут все определено, «все очерчено — тут формула, тут геометрия». — И вот еще родимое пятнышко над бровью Вареньки. «Душою мы друг другу чужды» — но родинка роднее души.

Чудесные рассказываю тайны...¹⁰⁹

«А Варвара Александровна будет зевать за пальцами и наконец уснет от моего рассказа»¹¹⁰, — пишет Лермонтов.

Зевающая Беатриче невысказана. А вот зевающая Варенька — ничего, и даже лучше, что она так просто зевает. Чем более она простая, земная, реальная, тем более страсть его становится нездешнею.

Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты, —
Всею упоением, всею властью
Бессмертной мысли и мечты¹¹¹.

Для христианства «нездешнее» значит «бесстрастное», «бесплотное»; для Лермонтова наоборот: самое нездешнее — самое страстное; огненный предел земной страсти, огненный источник плоти и крови — не *здесь*, а *там*.

Я перенес земные страсти
Туда с собой¹¹².

И любовь его — отсюда сюда. Не жертвенный огонь, а молния.

Посылая Вареньке список «Демона», Лермонтов в посвящении поэмы с негодованием несколько раз перечеркнул букву *Б*. — Бахметевой и поставил *Л*. — Лопухиной¹¹³. С негодованием зачеркнул христианский брак: лучше бы она вышла на улицу и продала себя первому встречному, чем это прелюбодеяние, прикрытое христианским таинством.

Но почему же Лермонтов не женился на Вареньке?

Моя воля надеждам противна моим:
Я люблю и страшусь быть взаимно любим¹¹⁴.

«Как бы страстно я ни любил женщину, — говорит Печорин, — если она даст мне только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости любовь! Мое сердце превращается в камень... Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь мою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Этой какой-то врожденный страх — необъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей».

В этом омерзении к христианскому браку, разумеется, преувеличение — та мстительная злоба, с которой перечеркнул он букву *Б.* в посвящении «Демона». Но тут есть и более глубокое, метафизическое отвращение, отталкивание одного порядка от другого: ведь предельная святость христианская вовсе не брак, а безбрачие, бесстрастие; предельная святость у Лермонтова — «нездешняя страсть» и, может быть, какой-то иной, нездешний, брак. Вот почему любовь его в христианский брак не вмещается, как четвертое измерение в третье. Христианский брак — эту сомнительную сделку с недостижимой святостью безбрачия — можно сравнить с Евклидовой геометрией трех измерений, а любовь Лермонтова с геометрией Лобачевского, «геометрией четвертого измерения».

Превращение Вареньки в законную супругу Лермонтова — все равно что превращение Тамары в «семипудовую купчиху», о которой может мечтать не демон, а только черт с «хвостом датской собаки».

Тамару от Демона отделяет стена монастырская, в сущности та же стена христианства, которая отделила Вареньку от Лермонтова. Когда после смерти Тамары Демон требует ее души у Ангела, тот отвечает:

Она страдала и любила,
И рай открылся для любви.

Но если рай открылся для нее, то почему же и не для Демона? Он ведь так же любил, так же страдал. Вся разница в том, что Демон останется верен, а Тамара изменит любви своей. В метафизике ангельской явный подлог: не любовь, а измена любви, ложь любви награждаются христианским раем.

Этой-то измены и не хочет Лермонтов и потому не принимает христианского рая.

Я видел прелесть *бестелесных*
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал¹¹⁵.

Не узнавал маленького родимого пятнышка над бровью Вареньки.

Христианской «бестелесности», бесплотности не принимает потому, что предчувствует какую-то высшую святую плоти.

«Я, может быть, скоро умру и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни — я думаю только о тебе», — пишет Вера-Варенька Печорину-Лермонтову¹¹⁶. И он отвечает ей из того мира в этот, оттуда сюда:

Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.

Есть ужас, который для него ужаснее христианского ада:

...смерть пришла, наступило за гробом свиданье,
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Вот чего он не может простить христианству.

Покоя, мира и забвенья
Не надо мне!

Не надо будущей вечности без прошлой, правды небесной без правды земной.

Что мне сиянье Божьей власти
И рай святой!
Я перенес *земные страсти*
Туда с собой.

Смутно, но неотразимо чувствует он, что в его непокорности, бунте против Бога есть какой-то божественный смысл.

Когда б в покорности незнания
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил.
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться¹¹⁷.

Должно свершиться соединение правды небесной с правдой земной, и, может быть, в этом соединении окажется, что есть другой, настоящий, рай, —

На небе иль в *другой* пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь.

Недаром же и в самом христианстве некогда был не только небесный идеализм, но и земной реализм, не только умерщвление, но и воскресение плоти.

Ежели плоть Христа воскресшего — иная, «прославленная» и вместе с тем точно такая же, как при жизни, — даже до крестных язв, по которым узнали Его ученики, то, может быть, и Варенька воскреснет иною, более прекрасною и вместе с тем точно такую же, даже до маленького родимого пятнышка над бровью, по которому ее узнает Лермонтов. Может быть, и там, как *здесь*, какие-то веселые дети будут играть с нею и петь: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!» И со «звуками небес» сольются эти не «скудные песни земли». И может быть, Лермонтов примет этот настоящий рай. — А если примет, то конец бунту в любви, конец богоборчеству в богосыновстве.

Но для того чтобы этого достигнуть, надо принять, исполнить до конца и преодолеть христианство. Трагедия Лермонтова в том, что он христианства преодолеть не мог, потому что не принял и не исполнил его до конца.

Он борется с христианством не только в любви к женщинам, но и в любви к природе, и в этой последней борьбе трагедия личная расширяется до вселенской, из глубины сердечной восходит до звездных глубин.

IX

«Когда я его видел в Сулаке, — рассказывает один из кавказских товарищей Лермонтова, — он был мне противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука. Гарцевал на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. — Собрал какую-то шайку грязных головорезов. Совершенно входя в их образ жизни, спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода»¹¹⁸.

«Я находился в непрерывном странствии, — пишет Лермонтов Раевскому. — Одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское... Для меня горный воздух — бальзам: хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту»¹¹⁹.

Опущением Лермонтова предсказано опущение Л. Толстого, солдатскою рубахою Лермонтова — мужичий полушубок Л. Толстого; на Кавказе Лермонтов кончил, Л. Толстой начал.

Как из лермонтовского демонизма, богоборчества вышел Достоевский — христианский бунт Ив. Карамазова, так из лермонтовской природы вышел Л. Толстой — языческое смирение дяди Ерошки¹²⁰. Можно бы проследить глубокое, хотя скрытое, влияние Лермонтова на Л. Толстого — в гораздо большей степени, чем Пушкина.

«Валерик» — первое во всемирной литературе явление того особенного русского взгляда на войну, который так бесконечно углубил Л. Толстой. Из этого горчичного зерна выросло исполкиное дерево «Войны и мира».

Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем;
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он. — Зачем?

Противоположение культурного и естественного состояния как «войны и мира» — вот метафизическая ось, на которой вращается вся звездная система толстовского творчества.

«Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, — говорит Лермонтов — мы невольно становимся *детьми*: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда и, верно, *будет* когда-нибудь опять»¹²¹.

Была и будет. Была в прошлой — будет в будущей вечности.

...верь мне: помощи людской
Я не желал, я был чужой
Для них навек, как зверь степной.

Дядя Ерошка мог бы повторить это признание Мцыри.

Мцыри значит «монастырский послушник». Та же стена монастырская, стена христианства отделяет его от природы, как Лермонтова от Вареньки, Демона от Тамары.

И вспомнил я ваш темный храм
И вдоль по треснувшим стенам
Изображения святых...
...как взоры их
Следили медленно за мной
С угрозой мрачной и немой...

Христианская святость — неземная угроза, неземная ненависть; — а у Мцыри неземная любовь к земле. Вот почему не

принимает и он, как Демон, как сам Лермонтов, христианского рая:

...за несколько минут
Между крутых и диких скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял!

И здесь, в любви к природе, как там, в любви к женщине, — то же кощунство, за которым, может быть, начало какой-то новой святыни.

И с этой мыслью я засну
И никого не прокляну.

Неземная любовь к земле — особенность Лермонтова, едва ли не единственная во всемирной поэзии.

Если умершие продолжают любить землю, то они, должно быть, любят ее именно с таким чувством невозвратимой утраты, как он. Это — обратная христианской земной тоске по небесной родине — небесная тоска по родине земной.

Кажется иногда, что и он, подобно своему шотландскому предку колдуну Лермонту, «похищен был в царство фей» и побывал у родников создання¹²².

«Где был ты, когда Я полагал основания земли?»¹²³ — на этот вопрос никто из людей с таким правом, как Лермонтов, не мог бы ответить Богу: я был с Тобою.

Вот почему природа у него кажется первозданною, только что вышедшей из рук Творца, пустынною, как рай до Адама.

И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас¹²⁴.

Никто так не чувствует, как Лермонтов, человеческого отпадения от божеского единства природы:

Тем я несчастлив, добрые люди,
Что звезды и небо — звезды и небо,
А я — человек...¹²⁵

Никто так не завидует холоду вольных стихий:

Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Он больше чем любит, он влюблен в природу, как десятилетний мальчик в девятилетнюю девочку «с глазами, полными

лазурного огня». — «Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде голубого неба»¹²⁶.

Для того чтобы почувствовать чужое тело как продолжение своего, надо быть влюбленным. Лермонтов чувствует природу, как тело возлюбленной.

Ему больно за камни:

И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и золото,
Врежет страшный путь.

Больно за растения:

Изрублены были тела их потом
И медленно жгли их до утра огнем.

Больно за воду — Морскую Царевну:

Очи одела смертельная мгла...
Бледные руки хватают песок,
Шепчут уста непонятный упрек —

упрек всех невинных стихий человеку, своему убийце и осквернителю.

Последняя тайна природы — тайна влюбленности.

Влюбленный утес-великан плачет о тучке золотой. Одинокая сосна грустит о прекрасной пальме. И разделенные потоком скалы хотят обнять друг друга:

Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтися никогда¹²⁷.

И волны речные — русалки — поют:

Расчесывать кольца шелковых кудрей
Мы любим во мраке ночей,
И в чело, и в уста мы красавца не раз
Целовали в полуденный час¹²⁸.

И желание смерти — желание любви:

Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел.

В предсмертном бреду Мцыри песня маленькой рыбки-русалочки —

О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,

Люблю, как вольную струю,
Люблю, как жизнь мою, —

эта песня возлюбленной напоминает песню матери: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал. — Ее певала мне покойная мать»¹²⁹.

Вечное Материнство и Вечная Женственность, то, что было до рождения, и то, что будет после смерти, сливаются в одно.

«В Столярном переулке у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27...

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями; дома казались грязны и темны; лица прохожих были зелены; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет... Вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс: Лугин слушал, слушал; ему стало ужасно грустно»¹³⁰.

Это начало неоконченной повести Лермонтова — тоже предсмертного бреда — есть начало всего Достоевского с его Петербургом, «самым фантастическим и будничным из всех городов»¹³¹. Тут все знакомое: и мокрый, как будто «теплый» снег, и «шарманка, играющая немецкий вальс», от которого и Раскольникову, как Лугину, станет «ужасно грустно»¹³² и полусумасшедший герой из «подполья»¹³³, и, наконец, это привидение, «самое обыкновенное привидение», как выражается Свидригайлов¹³⁴.

«Показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок.

— Не угодно ли я вам промечу штосс?»

Кто этот старичок? Он вышел из поясного портрета, изображающего человека лет сорока, у которого «в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно».

Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет...

Я к состоянью этому привык,
Хоть ясно б выразить его не мог
Ни демонский, ни ангельский язык¹³⁵.

Да уж полно, не старый ли это наш знакомец? Не тот ли, который некогда «сиял такой волшебной-сладкой красотой»? Не Демон ли?

Но если это он, то как постарел, одряхлел он, съезжился, сморщился, сделался пустым, прозрачным и призрачным,

словно старая кожа змеи, из которой она выползла. Оказался самым обыкновенным чертом с «хвостом датской собаки».

Любил и я в былые годы
 В невинности души моей
 И бури шумные природы,
 И бури тайные страстей.
 Но красоты их безобразной
 Я скоро таинство постиг,
 И мне наскучил их несвязный
 И оглушающий язык¹³⁶.

Наскучил «демонизм». Печорин-Демон все время зеваает от скуки. «Печорин принадлежал к толпе», — говорит Лермонтов: к толпе, т. е. к пошлости. — «Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения... Болезнь указана», — заключает Лермонтов. — «Я иногда себя презираю», — признается сам Печорин. — «Жальче его никто никогда не был», — замечает Максим Максимыч.

В Демоне был еще остаток дьявола. Его-то Лермонтов и преодолевает, от него-то и освобождается, как змея от старой кожи. А Вл. Соловьев эту пустую кожу принял за змею.

Так вот кто старичок-привидение: воплощение древнего хаоса в серенькой петербургской слякоти, воплощение природы как бездушной механики, бездушной материи, у которой в плену душа вселенной, Вечная Женственность. Для того чтобы освободить ее из плена, человек собственную душу свою ставит на карту.

«— У меня в банке вот это, — говорит старичок.

— Это? Что это?

Лугин обернул голову... минутного взгляда было бы довольно, чтобы проиграть душу. То было чудное и божественное видение».

Видение Вечной Женственности.

«С этой минуты Лугин решился играть, пока не выиграет; эта цель сделалась целью его жизни... Она — не знаю как назвать ее — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика, и, всякий раз когда карта Лугина была убита, она с грустным взором оборачивала к нему глаза». — Как та девятилетняя девочка — «с глазами полными лазурного огня».

«Глаза говорили: подожди, я буду твоею — я тебя люблю».

«То было одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя *новую природу*,

лучше и полнее той, к которой она прикована», — заключает Лермонтов.

Знайте же, вечная женственность ныне
 В теле нетленном на землю идет...
 Все, чем красна Афродита мирская,
 Радость домов, и лесов, и морей, —
 Все совместит красота неземная,
 Чище, сильнее, и живей, и *полней* ¹³⁷, —

говорит Вл. Соловьев. «Новая природа — *полнее* той, к которой душа прикована», — говорит Лермонтов.

Тут вечные враги — Каин и Авель русской литературы — неожиданно встретились и обнялись, как братья-близнецы.

Но недаром близнецы враждуют. У Вл. Соловьева Вечная Женственность хотя и «сходит на землю», но сомнительно, чтобы дошла до земли: она все еще слишком неземная, потому что слишком христианская; у Лермонтова она столь же земная, как и небесная, может быть, даже более земная, чем небесная; она и Варенька с родимым пятнышком, и девочка, играющая в куклы, и покойная мать, напевающая колыбельную песню, и «мать сыра земля», та самая, на которую Мцыри, беглец из христианства, упал —

И в иступленье зарыдал...
 И слезы, слезы потекли
 В нее горячею росой.

«Мать сыра земля» — «земля Божья» — Матерь Божья.

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
 Пред твоим образом, ярким сиянием,
 Не о спасении, не перед битвою,
 Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
 За душу странника в мире безродного,
 Но поручить хочу душу невинную
 Теплой Заступнице мира холодного.

В записной книжке Лермонтова найдены выписки из Посланий Апостольских. Тут же заметка кн. А. Одоевского: «Эти выписки имели отношение к религиозным спорам между мною и Лермонтовым» ¹³⁸.

Замечательно, что во всей его поэзии, которая есть не что иное, как вечный спор с христианством, нет вовсе имени Христа.

От матери он принял «образок святой»:

Дам тебе я на дорогу
Образок святой¹³⁹.

Но этот образок — не Сына, а Матери. К Матери пришел он помимо Сына. Не покорный Сыну, покорился Матери.

И вот кажется, если суд «мира холодного», суд Вл. Соловьева над Лермонтовым исполнится, если отвергнет его Сын, то не отвергнет Мать.

Религия Вечной Женственности, Вечного Материнства уходит корнями своими в «мать сырую землю» — в стихию народную.

Что такое Матерь Божья в народном всемирном христианстве? Не предчувствие ли в нем того, что за ним?

Христианство отделило прошлую вечность Отца от будущей вечности Сына, правду земную от правды небесной. Не соединит ли их то, что за христианством, откровение Духа — Вечной Женственности, Вечного Материнства? Отца и Сына не примирит ли Мать?

Всего этого Лермонтов, конечно, не видел в себе, но мы это видим в нем. Тут не только приближается, подходит он к нам, но и входит в нас.

Это, впрочем, наше неизмеримо далекое будущее, а Лермонтов входит и в наше настоящее, в нашу сегодняшнюю злобу дня: ведь спор с христианством — наш сегодняшний неоконченный спор.

Х

«Смирись, гордый человек!» — Ну, вот и смирились. Во внешней политике — до Цусимы, а во внутренней — до того, о чем и говорить непристойно, до Ната Пинкертона. Начать Пушкиным и кончить Натом Пинкертоном¹⁴⁰, — что бы сказал Достоевский о таком смирении?

Нельзя, конечно, обвинять ни Пушкина, ни Достоевского за то, что сейчас происходит в русской литературе и в русской действительности. Но должна же существовать какая-нибудь связь между последним полвеком нашей литературы и нашей действительности, между величию нашего созерцания и ничтожеством нашего действия. Кажется иногда, что русская литература истощила до конца русскую действительность: как исполинский единственный цветок *Victoria Regia*¹⁴¹, русская

действительность дала русскую литературу и ничего уже больше дать не может. Во сне мы были как боги, а наяву людьми еще не стали.

Однажды было спящий великан проснулся, рванулся к действию, но и действие оказалось продолжением сна — и снова рухнул великан на свой тысячелетний одр.

Что если он уже больше никогда не проснется, если это последний смертный сон?

И баюкает его колыбельная песня всей русской литературы:

Не для житейского волнения,
 Не для корысти, не для битв, —
 Мы рождены для вдохновения,
 Для звуков сладких и молитв¹⁴².

Правда, в последнее время эти «сладкие звуки» перешли как-то незаметно в уныло-веселую песенку чеховского героя, в «та-ра-ра-бумбию»¹⁴³. Но глубочайшая метафизическая сущность русской литературы, русской действительности и в этой песенке — все та же: созерцательная бездейственность, «беспорывность нашей природы»¹⁴⁴, которую прославил в Пушкине сначала Гоголь, а затем Достоевский: «Смирись, гордый человек!»

Это пушкинское начало, кажется, именно сейчас достигло своего предела, победило окончательно и, победив, изнемогло. Пушкинское солнце закатилось в кровавую бурю. Когда же и буря прошла, наступила слякоть, серые петербургские сумерки —

Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

И рыщет в этих сумерках единственный деятель среди всеобщего созерцания — Нат Пинкертон, вечный Провокатор, «самый обыкновенный черт с хвостом датской собаки».

Как лунатики, мы шли во сне и очнулись на краю бездны.

Что же привело нас к ней?

Созерцание без действия, молитва без подвига, великая литература без великой истории — это никакому народу не прощается — не простилось и нам.

На этой-то страшной мертвой точке, на которой мы сейчас находимся, не пора ли вспомнить, что в русской литературе, русской действительности, кроме услышанного призыва: смирись, гордый человек, — есть и другой, неуслышанный: восстань, униженный человек, — кроме последнего смирения есть и последний бунт, кроме Пушкина есть и Лермонтов?

Противоположение пушкинского созерцательного и лермонтовского действенного начала — не эмпирическое, а метафизическое. Никакого действия нет и у Лермонтова, так же как у Пушкина: вся разница в том, что один спасается, другой погибает в бездействии.

Пушкин кажется более народным, чем Лермонтов. Но если русскому народу религиозная стихия — родная, то Лермонтов не менее, а может быть, и более народен, чем Пушкин.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой,
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой.

Не от «благословенного» Пушкина, а от «проклятого» Лермонтова мы получили этот «образок святой» — завет матери, завет родины. От народа к нам идет Пушкин; от нас — к народу Лермонтов; пусть не дошел, он все-таки шел к нему. И если мы когда-нибудь дойдем до народа в предстоящем религиозном движении от небесного идеализма к земному реализму, от старого неба к новой земле — «Земле Божьей», «Матери Божьей», то не от Пушкина, а от Лермонтова начнется это будущее *религиозное народничество*.

Скрытую борьбу с Лермонтовым была доньше вся русская литература — не предстоит ли нам борьба с Пушкиным?

С вечною истиной бороться нельзя. Пушкин — такая же вечная истина, как Лермонтов, или, вернее, одна из двух половин этой истины. Нельзя бороться с Пушкиным как с одним из двух, но можно как с единственным.

Вопрос не в том, как Пушкина победить Лермонтовым, — вопрос, от которого зависит наше спасение или гибель: как соединить себя с народом, наше созерцание с нашим действием, Пушкина с Лермонтовым?

